

Валерий Губин<sup>1</sup>

## Abstract

The key problem of the article is a mismatch of «theoretical» and «real» levels of contemporary post-Soviet philosophy. The author specifies a number of «national» features of philosophy in Russia, the world outlook preconditions of which are: inclination of «Russian people» to mythologization of their own daily life, inversion of functions of the public and the private, underdevelopment of individualism. Among the «troubles» of contemporary Russian philosophy the author also names its elitist academic status, and also «contamination» of a personality by fettering totalitarian complex of fault and by ideologized discourse. The overcoming of these tendencies in the name of an original rational individual who has the right to despair and loneliness, and, as a consequence, emancipation is, according to the author, the main task of contemporary philosophy.

**Keywords:** philosophy in Russia, demystification of ideology, dehumanization of philosophy, mythological outlook, the public and the private, individualism, freedom, Nietzsche, Kierkegaard.

Философия в нынешней России находится на подъёме. Об этом свидетельствует большое количество докторских и кандидатских диссертаций по философии, защищённых за последние годы депутатами Государственной думы и Федерального собрания, губернаторами, высшими правительственными чиновниками. Вполне возможно, что скоро мы будем жить в государстве, которое управляется философами. И тем самым осуществится мечта Платона.

Вообще, в России всегда было хорошо с теоретической философией, по крайней мере с начала XIX века. За исключением разве что периода, который начался с «философского парохода» и окончился «оттепелью». Но и тогда философия в нашей стране продолжала своё полуподпольное существование: мыслили и писали Павел Флоренский, Алексей Лосев и многие другие, как известные, так и незаслуженно забытые ныне философы. Говорят, что в России никогда не было великих мыслителей. Но для нас Василий Розанов или Николай Бердяев не менее великие, чем для французов Анри Бергсон или Жан-Поль Сартр.

<sup>1</sup> Валерий Дмитриевич Губин – доктор философских наук, профессор, декан философского факультета Российского гуманитарного университета (г. Москва, Российская Федерация).

Что же касается реальной философии, философии повседневной жизни, то с этим как раз всегда было плохо. Человек, чтобы оставаться человеком, должен философствовать: искать смысл жизни, стремиться к добру и избегать зла, не просто жить, но вести свою жизнь. А у нас, как, впрочем, и в любой другой стране, всегда был дефицит думающих. Но в России это ещё усугублялось отсутствием хороших дорог.<sup>2</sup>

Мало что изменилось с того времени, когда Н. Бердяев писал: есть соответствие между необъятностью, безграничностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремлённость в бесконечность, как и у русской равнины. Поэтому русскому народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и их оформить. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы всё гораздо более детерминировано и оформлено, всё разделено на категории и конечно. Не так у русского народа как менее детерминированного, как более обращённого к бесконечности и не желающего знать распределения по категориям, не желающего мыслить строго и последовательно.

В России определяющим элементом мировоззрения всегда была и остаётся *не философия, а мифология, и не столько мифология сознания, сколько мифология самой жизни*. И главным мифом, наиболее адекватно описывающим русскую историю, является *миф о вечном возвращении*. Всё повторяется, потому что ни из каких исторических уроков не делается выводов, потому что никогда не продумываются до конца причины и следствия социальных потрясений. Давно уже нет, писал Н. Бердяев в 1918 году, самодержавия, жандармов, старых судов, но чудовищные образы гоголевской России не исчезли. В революции раскрылась вся та же старая, вечно-гоголевская Россия, нечеловеческая, полужвериная Россия харь и морд.<sup>3</sup>

И главное – все готовы к этому повторению, все примиряются с ним. Сейчас интеллигенция снова собирается на кухне и костерит власть. Снова появились самоцензура и подозрения в том, что телефоны прослушиваются. И это русскому человеку как-то привычнее и роднее, чем опостылевшая свобода, при которой чувствуешь себя одиноким волком в степи.

Есть много других мифов, мешающих становлению философского сознания: миф о богоизбранности русского народа, о зага-

<sup>2</sup> По этому поводу есть анекдот. С дураками можно справиться: нагоним экскаваторов, грейдеров, бетономешалок, асфальтоукладчиков! А вот что с дорогами делать?

<sup>3</sup> См.: Бердяев Н.А. Духи русской революции // *Вехи. Из глубины*. М., 1991. С. 256.

дочной славянской душе, о благодати, которая выше закона, и т. д. Очень действенным мифом является миф о «мире»: навалимся всем миром, на миру и смерть красна и т. д. Нет в русской ментальности ярко выраженного личностного начала, следовательно, нет и не будет адекватного восприятия философии. Вместо декартовского «один на один с миром», «здесь и сейчас» существует, как говорил в своих лекциях М.К. Мамардашвили, исконно российское «вместе», «завтра» и «может быть».

Ещё одна причина дефицита личностного начала – в России никогда не происходили революции снизу, только бунты и массовые беспорядки. Свобода в той или иной мере дарилась народу властью. Но свободу, как известно, нельзя подарить, её надо выстрадать, завоевать; это всегда глубоко личное дело.

Ныне это ещё усугубляется реальной опасностью, которую несёт с собой массовая культура: читатель вытесняется зрителем, думающий человек – человеком делающим. В шестидесятые годы была очень популярна фраза Никиты Хрущёва: «Думать – это не работа!» Да и не надо думать, когда существует огромное количество техник и технологий, овладев которыми можно вполне сносно и даже успешно существовать.

Философия и философы стали страшно далеки от народа. И дело не в том, что нет декабристов, которые могли бы разбудить, а в том, что будить некого. Философы заняты своими делами: издают книги, в которых обсуждаются важнейшие проблемы структурной антропологии или социальной феноменологии, собираются на симпозиумы и конгрессы, соревнуются в выбивании грантов, особенно для поездки за рубеж. Трудно представить себе сегодня русского Фихте, который своими речами к русской нации всколыхнул бы всю Россию. Или Владимира Соловьёва, на лекции которого о богочеловечестве стекались представители всех сословий тогдашнего Петербурга. Да и сама философия в вузах и гимназиях постепенно сокращается, съедается, как шагреновая кожа: уменьшается количество часов в технических вузах, совершенно вытеснена философия из аспирантуры и заменена неким кадавром, который называется «Философия и история науки». Рано или поздно, но это не замедлит сказаться на общем понижении культурного уровня общества.

Владимир Соловьёв писал о реформе *девятнадцатого* века, предвосхищая реформу века *двадцать первого*:

«В 1849 году, как известно, древние языки были изгнаны из наших гимназий и философия из наших университетов. Результаты этого двойного изгнания не замедлили обнаружиться и в жизни, и в науке. Трудно отвергать, что понижение образовательного уровня гимназий и университетов послужило весьма благоприятствующим условием для развития того поверхностного радикализма, который овладел значительной частью нашего общества с начала 60-х годов... С изгнанием классицизма и философии из нашей общеобразовательной школы

русская наука стала обогащаться массой случайных произведений без цели и плана в общем, без логической связи в частности...»<sup>4</sup>.

Понятно, что люди всё ещё напуганы *Кратким курсом*, диалогом и истматом и готовы вообще избавиться от философии, чтобы этот кошмар не повторился. Но при этом не просчитываются последствия таких «революционных» шагов. Меньше философии, больше мифологии, больше всевозможных мистификаций и оболванивания. Философия, считал Ж. Делёз, делает людей свободными, ибо разоблачает всяческие мистификации, какими бы ни были их источники и цели, разоблачает в этих мистификациях смесь низости и глупости, которая способствует поразительному сообществу жертв и палачей.

«Кто, как не философ, заинтересован во всём этом? Философия как критика говорит нам о наименее позитивнейшем в ней самом – об осуществлении демистификации. И пусть не торопятся заявлять о провале философии в этом деле. Сколь бы большими ни были глупость и низость, они были бы ещё большими, если бы не существовало малой толики философии, в любую эпоху мешавшей им заходить так далеко, как бы им хотелось...»<sup>5</sup>

Философы сумели сказать людям о том, что скрывают их нечистая совесть и злопамятство. Устоявшимся ценностям и власти предрержащим они сумели противопоставить образ свободного человека, который только один и может теперь, когда почти всё на свете определяется самыми грубыми и злыми силами – эгоизмом приобретателей и военной тиранией, быть стражей и рыцарем человечности, этого неприкосновенного святого сокровища, постепенно накопленного многочисленными поколениями. Только он и может водрузить «образ человека, в то время когда все чувствуют в себе лишь себялюбивые вождения и собачью трусость и, следовательно, отпали от этого образа, возвратятся назад в животную или даже мертвомеханическую стихию»<sup>6</sup>.

Можно сказать, что происходит дегуманизация философии, в том же смысле, в котором Х. Ортега-и-Гассет говорил о дегуманизации искусства. Ортега писал, что радоваться или сострадать человеческим судьбам, о которых повествует нам произведение искусства, есть нечто отличное от подлинно художественного наслаждения. Если мы переживаем судьбу Тристана и Изольды и приспособливаем своё художественное восприятие именно к этому, то мы не видим художественное произведение как таковое. Горе Тристана может волновать нас в той мере, в какой мы принимаем его за реальность.

<sup>4</sup> Цит. по: Сербиненко В.В. *Владимир Соловьёв: Запад, Восток и Россия*. М., 1994. С. 25.

<sup>5</sup> Делёз Ж. *Ницше и философия*. М., 2003. С. 220–221.

<sup>6</sup> Ницше Ф. Несвоевременные размышления // Ницше Ф. *Сочинения в трёх томах*. Т. 2. М., 1994. С. 33.

«Но всё дело в том, что художественное творение является таковым лишь в той степени, в какой оно нереально. Только при одном условии мы можем наслаждаться Тициановым портретом Карла V, изображённого верхом на лошади: мы не должны смотреть на Карла V как на действительную живую личность – вместо этого мы должны видеть только портрет, ирреальный образ, вымысел»<sup>7</sup>.

Философия, согласно этой логике, не должна радоваться или сострадать человеческим судьбам, это не её дело; её дело – чистая игра, которая одна только и даёт нам интеллектуальное наслаждение. И она действительно даёт такое наслаждение философам и ещё нескольким десяткам, а иногда даже сотням людей, которые в состоянии понять текст, написанный в феноменологическом или постмодернистском ключе.

И всё-таки философия, которая остаётся только теоретической философией, – удел избранных, некое элитарное занятие, не имеющее сколько-нибудь серьёзного отношения к жизни общества, к нуждам, заботам и страданиям людей. Сколько корреспондентов было у Розанова – возьмите любую его книгу, он почти везде приводит письма читателей: люди просят у него совета, одобряют или осуждают его мысли. Кому нынче придёт в голову писать, например, современным философским академикам, да и о чём им писать?

Философия становится ручной, вместо того чтобы быть занозой, оводом. И о каждом серьёзном и глубоком философе власть может нынче сказать так же пренебрежительно, как Сталин о Пастернаке: «Не трогайте этого юродивого!»

Можно обозначить хотя бы несколько важнейших задач, которые должна выполнять философия в России.

1. Философия необходима народу в той мере, в какой она открывает человеку убежище, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца (Ф. Ницше). И в этом смысле она является единственной освобождающей человека силой. Она воспитывает одиночество, независимость, привычку жить внутренней жизнью.

Российский народ никогда не любил власть и боялся её. Жан-дарм или милиционер, офицер или чиновник – это всегда чуждая сила, стоящая над ним, с которой лучше не связываться и от которой лучше держаться подальше. Никогда и не было никакого умирительного единства государства и народа, партии и народа. Со времён Петра I появилось жёсткое разделение: народ и власть. Власть была западной по духу, а народ как бы вырос из окружающей местности. Между этими двумя мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения. Никогда всенародной любовью не пользовались ни цари, ни диктаторы, ни президенты: Петр был в глазах большинства антихрист, Сталин – усатый таракан, Брежнев – «бровеносец в потёмках»

<sup>7</sup> Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. *Эстетика. Философия культуры*. М., 1991. С. 224–225.

и т. д. О «любви» народа к власти, в том числе и советской, свидетельствует огромное количество злых и беспощадных анекдотов. Всенародные восхваления, подарки, оплакивания в случае смерти – всё это имело место, хотя, как правило, это были просто хорошо организованные акции.

Однако российский человек всегда был гиперорганизован. С самого детства он являлся членом какой-нибудь организации – пионерской, комсомольской, партийной, профсоюзной и т. д. Причём все эти организации имели не органический, а механический характер, поскольку власть, сознательно или бессознательно, делала и делает всё, чтобы не допустить никакого органического объединения людей. Поэтому чувство одиночества для большинства людей – самое мучительное. Жизнь всегда публична, всегда открыта, всегда на собрании, на демонстрации, на субботнике, на выборах. И в то же время любой российский человек в душе анархист. Вырваться из-под опеки власти, организации и погулять вволю – затаённая мечта многих людей. Отсюда бессмысленный и беспощадный русский бунт, бесконечные восстания, стачки, демонстрации. Стоит власти только чуть-чуть отпустить поводья, и стихия анархии вырывается наружу: будь то «соляной бунт», восстание в колымских лагерях или события в Москве в октябре 1993 года во время штурма здания, где проходили заседания Верховного совета.

Одиночество, в котором только и рождаются оригинальные дела, мысли, становится возможным творчество, кажется людям чем-то смутным, пугающим и недостижимым. Поэтому философия, культивирующая одиночество, всегда раздражает общество, общественность, власть да и каждого человека, который чувствует вызов своей совести и не может на него адекватно ответить.

«Ах, – я замечаю, – вы не знаете, что такое одиночество. Где существовали могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, – словом, где была какого-либо рода тирания, там она ненавидела одинокого философа, ибо философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца; и это досадно тиранам».<sup>8</sup>

2. Философия учит «неучастию». Не надо участвовать в тех делах, в которых от тебя ничего не зависит, в которых ты только статист, направляемый умелой рукой режиссёра. Конечно, трудно следовать советам А. Толстого: «Не служите государству, не служите в армии, полиции, в таможне, не платите налогов» и т. д. Да, наверное, это и невозможно. Можно ли, например, участвовать в избирательных кампаниях, если запрещены референдумы, если депутаты выдвигаются только партиями, если есть закон, ликвидирующий необходимый минимум пришедших на выборы? В конце концов, политика неучастия привела к тому, что в Индии рухнул колониальный режим. Большое значение в освобождении человека

<sup>8</sup> Ницше, указ. соч., с. 20.

имеет и внутреннее неучастие. Не участвовать внутренне – уже быть на пути к свободе: не участвовать во лжи, не участвовать в ограблении природы, не участвовать в гонке потребления и т. д.

Неучаствующие – это самая страшная сила для любого тоталитарного (или стремящегося стать таковым) государства. Те, кто участвуют, всегда делают это за что-то: за должность, привилегии, паёк. Неучаствующим не нужно ничего, их не купить, не запугать, они к государству относятся как к трамваю, который нужно обходить сзади.

3. Философия необходима в той мере, в какой она культивирует чувство вины. В тоталитарном обществе вина тотальна. Любой человек, виновен он на деле или нет, должен опасаться наказания. Все люди делятся на подозреваемых и обвиняемых. Суд провоцирует идущее из самых недр полное раскаяние. Только из полного раскаяния можно вернуться к любви – к государству, к Большому Брату. Отсюда высокий статус собственного признания вины, которого добивались любыми средствами. Вина первична. Отсюда огромное количество сфальсифицированных дел. Различие между фиктивным и реальным преступлением становится несущественным. Как следствие, сама вина оказывается фиктивной. В постсоветском пространстве это поразительным образом порождает стремительно растущее количество бессовестности и безнаказанности.

Внутри тоталитаризма все оказываются уравниены в изначальной виновности, все одинаково виноваты. И эта вина не может быть измерена. И именно поэтому после падения тоталитаризма все оказались невиновными. И современный человек совершенно искренне не понимает, почему он должен в чём-то каяться. Провозглашённая в начале перестройки формула «покаяния» оказалась повисшей в воздухе. Кому вменить преступления сталинского режима? Кого сделать объектом обвинения? Несколько месяцев заседал Конституционный суд, но так и не решился в чём-либо обвинить КПСС. И, видимо, больше никогда действия этой партии не станут предметом судебного разбирательства.

Нет покаяния – значит, советская эпоха ещё не изжита, её опыт не осознан. И, следовательно, всё может повториться снова. Несмотря на «капиталистические» завоевания, массу собственников, нарождающийся средний класс.

4. Философия необходима как критика языка. За годы советской власти были уничтожены два главных носителя культуры: дворянство и крестьянство – два класса, органически выраставшие из природы и истории страны. Всё последующее население – результат механического перемешивания людей, вырванных из среды естественного обитания, оказавшихся без роду и племени, без религии, без могил предков. Вместе с этими двумя классами был подорван в своей основе язык. Народ в массе своей говорит на тоталитарном языке, языке «обворованном», мёртвом, способном породить только мертвечину. Семьдесят лет возводили социалистический Вавилон и добились вавилонского смешения языков – обиходного языка с «феней» и подростковым сленгом, художественного – с чи-

новно-заседательским. А за этой пестротой и смешением – наш фирменный уклад сознания, проутюженный пропагандой.

Слова сегодня утратили достоверность и энергию. На основе естественного языка идеология с неизбежностью создаёт сильно сокращённую версию-манипулятор, словесное орудие, пригодное для употребления на всех уровнях языковой компетенции. С одинаковым успехом можно действовать как на уровне политического лозунга-заклинания, граничащего с бытовым трюизмом, так и на уровне «науки» (категория «научного мировоззрения», «научной обоснованности» каждого политического или хозяйственного решения); его цель – позволить носителю языка перепрыгнуть пропасть, отделяющую (реальное) знание от (символической) убеждённости. Сколько бы некоторые люди ни говорили о себе, что они-де сохраняют «внутреннюю дистанцию» по отношению к внешним ритуалам «тоталитарной» идеологии, всё-таки они следуют этим ритуалам и таким образом цинично воспроизводят эту идеологию.<sup>9</sup>

Тоталитарный государственный язык заслоняет реальность, которая преломляется сквозь призму искусственных, сконструированных, категорий. Настолько сильно заслоняет, что слова сливаются с реальностью, заменяют её. Этими словами невозможно выразить освободительные проекты или новые идеи.

Человек живёт в концентрационном лагере языка. Возникает неустранимая иллюзия, что опыт постижения языка и есть опыт, в котором нам предстаёт сама реальность. Индивид готов отдать жизнь за слова, которые на самом деле ничего не означают. И только философия может разоблачить эти симулякры, идеологические метанарративы, только она может вывести из состояния гипноза, осуществляемого умелыми политтехнологами.

Язык тоталитарен и в той мере, в какой он является бесстрастным языком. Невозможен бесстрастный язык в литературе, но точно так же он недопустим в философии. Страсть философии в том, что она призывает людей, не знающих ни одиночества, ни чувства вины, живущих в мире симулякров и привидений, проснуться, оторваться от этой жизни, прийти в отчаяние и через это отчаяние осознать себя единственной, неповторимой и самобытной личностью.

«Сколько погубленных существований из-за мысли, которая является блаженнейшей из блаженств! Увы, сколько развлекаются или же развлекают толпы чем угодно, кроме того, что действительно важно! Сколько увлекают расточать свои силы на подмостках жизни и не вспоминая об этом блаженстве! Их гонят стадами ... и обманывают всех скопом, вместо того чтобы рассеять эти толпы, отделить каждого индивида, чтобы он занялся наконец достижением высшей цели, единственной цели, ради которой стоит жить, которой можно питать всю вечную жизнь».<sup>10</sup>

<sup>9</sup> См.: Гуссейнов Г. *Советские идеологи в русском дискурсе 1990-х*. М., 2004. С. 14.

<sup>10</sup> Кьеркегор С. *Болезнь к смерти // Кьеркегор С. Страх и трепет*. М., 1993. С. 266.